

МУХАММ ХУРАЙБАЛИЕВ



Михаил Арцыбашев

Смех

За окном расстились поля. Рыжие зеленые и черные полосы тянулись одна рядом с другой, уходили вдаль и сливались там в тонкое кружевное марево. Было так много света, воздуха и безбрежной пустоты, что становилось тесно в своем собственном узком, маленьком и тяжелом теле.

Доктор стоял у окна, смотрел на поля и думал:

«Ведь вот...»

Смотрел на птиц, которые быстро и легко уносились вдаль, и думал:

«Летят!..»

Но на птиц ему было легче смотреть, чем на поля. Он сумрачно наблюдал, как они уменьшались и таяли в голубом просторе, и утешал себя:

«Не улетите... не здесь, так в другом месте... все равно сдохнете!..»

А радостно зеленеющие поля наводили на него уже полную тоску, томительную и безнадежную. Он знал, что это уж — вечно.

«Все это необыкновенно старо! — сердито перебивал он свои мысли. — Это еще когда сказано: „И пусть у гробового входа... красою вечною сиять... равнодушная природа...“ Это уже даже пошло!.. Даже глупо думать об этом! Я всегда считал себя гораздо умнее и... впрочем, все это пустяки... Да... это совершенно все равно, что бы я ни думал... все равно: не в том дело, что я по этому поводу подумаю».

Страдальчески морщась и подергивая головой, доктор отошел от окна и стал тупо смотреть на белую стену.

В голове его, совершенно помимо его воли и сознания, рождались, всплывали, как пузырьки воздуха в мутной воде, лопались и расплывались быстро одна за другой те самые мысли, которые в последнее время стали обычными для него. Именно в последнее время, после того как в день своего рождения он вдруг понял, что ему уже шестьдесят пять лет и что теперь уже наверное он скоро умрет. То нездоровье, которое он чувствовал перед тем целых две недели, еще больше напомнило ему о неизбежной необходимости пережить ту минуту, о которой он и раньше без замирания сердца не мог думать.

«А ведь будет, будет... одна эта сотая секунды, когда настанет самый перелом!.. По эту сторону секунды — жизнь, я, а по ту — уже ничего... так-таки совершенно ничего?.. Не может быть!.. Тут какая-нибудь ошибка!.. Ведь это „чересчур“ ужасно...»

А теперь он уж совершенно ясно понял, что никакой ошибки нет, что вот-вот и начнется это.

И каждый раз, когда у него заболела голова, грудь или желудок, когда ноги или руки были слабее обычного, ему приходило в голову, что именно теперь он начинает умирать. И эта мысль была очень проста, совершенно вероятна и потому нестерпимо ужасна.

Но самое мучительное началось тогда, когда он, вообще мало и невнимательно читавший,

прочел в одной книге ту мысль, что как ни велико разнообразие в природе, а все-таки рано или поздно комбинация должна повториться и создать такое же существо и даже то самое положение дел. В первую минуту ему даже стало как будто легче, но уже в следующее мгновение он пришел в бешенство.

«Ну да... комбинация... ничто не ново под солнцем... так... я очень хорошо знаю, что позади меня такая же вечность, как и впереди; значит, я сам теперь — только повторная комбинация... А ведь я ровно ничего не помню о первой комбинации... и выходит, что дело не во мне, а в комбинации!.. Как же это?.. Ведь я чувствую, как неизмеримо важно то, что, я живу, как это мучительно и прекрасно... ведь все, что я вижу, слышу, нюхаю даже, существует для меня только потому, что я вижу, слышу, нюхаю... потому что у меня есть глаза, уши, нос... Значит, я — громаден, я помещаю в себе все и сверх того еще страдаю!.. И вдруг комбинация!.. О, черт!.. Какое мне дело до комбинации, будь она проклята!.. Это же нестерпимо... ужасно... быть только повторяющейся, с известным промежутком времени, комбинацией!..»

И доктор чувствовал страшную, неутолимую ненависть к тому воображаемому человеку, который там, когда-то, будет таким, как он.

«А ведь это так и будет: повторяются же мысли человеческие, и как еще часто повторяются... повторится, значит, и человек... а-а-а! Даже мои мысли, мои страдания вовсе не важны, и не нужны никуда, потому что то же самое с одинаковым успехом передумают и перечувствуют еще миллионы всяких комбинаций... О-очень приятно, черт бы вас драл!..»

И состояние доктора ухудшалось день ото дня и, доходя по ночам до галлюцинаций, стало уже сплошным кошмаром страдания. Снилось ему только его смерть, похороны, внутренность могилы; иногда для разнообразия снилось, что он погребен заживо, снились еще почему-то черти, в которых он твердо не верил. Днем он уже постоянно думал на одну и ту же тему:

«Организм разрушается...»

Он замечал это в том, что ему тяжело взойти на лестницу больницы, что ему приходится иногда кряхтеть, вставая или нагибаясь. От дум у него началась бессонница, а бессонница, как ему казалось, была предсмертным явлением.

Как раз прошлую ночь он вовсе не спал, и оттого у него в голове было точно тяжелое и угарное похмелье.

Те мысли, которые прошли в эти часы бесцельного лежания в нагретой липкой постели, под крик и смех сумасшедших в буйной палате, были так омерзительно страшны, что доктор даже юлил и обманывал самого себя, стараясь думать, что ничего не помнит.

Но это ему не удавалось: то одна, то другая мысль всплывала и, казалось, очень отчетливо отпечатывалась на белой стене. В конце концов он таки вспомнил то, чего больше всего старался не вспоминать: как художественно ясно представился ему процесс разложения, та слизь и гниль, которые получатся из него, представились толстые, ленивые, белые черви, распухшие от его гноя... Он всегда боялся червей. А они будут ползать во рту, в глазах, в носу и везде...

— Конечно, я не буду тогда ничего чувствовать! — сердито закричал доктор — громко, на всю комнату. Голос у него был пронзительный.

Фельдшер отворил дверь, посмотрел и затворил.

«Бывает так вот: лечит, лечит, да и сам того!..» — подумал он и с большим удовольствием,

потому что ему было страшно скучно, пошел сказать другому фельдшеру, что старший, кажется, «того».

Когда он затворял дверь, она пискливо скрипнула.

Доктор посмотрел через очки.

— Гм... в чем дело? — спросил он сердито.

Но оттого, что дверь молчала, он с раздражением подошел к ней, отворил и пошел по коридору и по лестнице вниз, в ту палату, куда только вчера вечером посадили нового пациента.

К нему и давно надо было сходить, но теперь он пошел вовсе не по обязанности, а потому, что оставаться одному было уже совсем скверно.

Сумасшедший, в желтом халате и колпаке, хотя ему можно было оставаться и в своем платье, сидел на кровати и самым рассудительным образом сморкался в носовой платок. Доктор вошел очень осторожно, даже как будто недоверчиво, но сумасшедший посмотрел на него весело и дружелюбно.

— А, здравствуйте! — сказал он. — Вы, кажется, старший врач?

— Здравствуйте, — ответил доктор, — я старший врач.

— Очень приятно... Садитесь, пожалуйста, — любезно пригласил сумасшедший.

Доктор присел на стул, подумал, посмотрел на голые, выкрашенные серой краской стены, потом на халат сумасшедшего и сказал:

— Как ваше здоровье? Спали?..

— Спал, — охотно ответил сумасшедший, — почему бы мне и не спать? Спать следует... Я всегда очень хорошо сплю.

Доктор опять подумал.

— Да... Но, знаете, новое место... Кричат тоже у нас тут...

— Кричат? Я не слышал... Я, к счастью, доктор, очень плохо слышу... Он засмеялся.

— Бывает, что и не слышать — счастье... Доктор машинально ответил:

— Бывает...

Сумасшедший почесал переносину.

— Вы, доктор, курите? — спросил он.

— Нет.

— Жаль, а то бы я попросил папиросочку...

— Вам курить нельзя... знаете...

— Ах да... я все забываю... не привык еще... — опять улыбнулся сумасшедший.

Они помолчали.

Окно было с решеткой и довольно густой, но все-таки свет так и лился в комнату, и оттого было вовсе не мрачно, как всегда в больницах, а очень даже радостно и уютно.

— Прекрасная комната! — благосклонно сказал доктор.

— Да, очень веселенькая комнатка... Я даже не ожидал... Я, знаете, никогда раньше в сумасшедшем доме не бывал и представлял его себе гораздо... совсем не таким... а тут ничего... И если недолго, то я даже... ничего... А?

Сумасшедший искательно заглянул снизу в глаза доктора, но увидел только непроницаемо-синие стекла очков и торопливо прибавил:

— Ну да... да... Я понимаю... об этом спрашивать... Только знаете, что я вам скажу, доктор?
— вдруг оживляясь, спросил он.

— А? Что? Это интересно, — машинально проговорил доктор.

— Как только я выйду из больницы, я первым делом все ребра переломая тем своим благоприятелям, которые меня сюда пристроили... — с веселой злобой сказал сумасшедший, и его довольно безобразное лицо, все в веснушках, перекопилось.

— Ну зачем же?... — вяло возразил доктор.

— А затем, что дураки!.. Ведь это же черт знает что такое!.. Какого черта они полезли не в свое дело!.. Оно конечно, все равно, а все-таки на свободе не в пример веселее...

— Мало ли чего... — вдруг сердито сказал доктор.

— Да ведь я ровно ничего дурного не делал! — робко возразил сумасшедший.

— Ну... — неопределенно начал доктор.

— И не сделал бы! — поспешно перебил сумасшедший. — Скажите, пожалуйста, с какой бы стати я стал делать зло кому бы то ни было? Если бы я был дикарь или хоть Тит Титыч какой-нибудь, а то я, ей-Богу, всегда был достаточно интеллигентным для того, чтобы не ощущать никакого удовольствия ни от кражи, ни от убийства, ни от всего такого!..

— Больной человек... — начал доктор.

Сумасшедший скривился и потрянул головой с досадой и скукой.

— А, Господи!.. Больной!.. Я, конечно, не стану вас уверять, что я здоров: все равно не поверите... Но только какой же я, к черту, больной?..

— Но вы и нездоровы, — осторожно, но внушительно ответил доктор.

— Чем? — порывисто спросил сумасшедший. — У меня ничего не болит, и я сравнительно даже в хорошем расположении духа, что для меня всегда было редкостью... Ах, доктор, доктор... Ха!.. Как раз тогда меня посадили в сумасшедший дом, когда я открыл эту штуку... Ха-арошую штуку, доктор!

— А... это любопытно, — поднимая брови, заметил доктор, и его острое лицо напомнило морду заинтересованной собаки.

— Еще бы...

Сумасшедший вдруг засмеялся, встал, отошел к окну и долго молча смотрел прямо навстречу солнцу. Доктор тоже молча смотрел ему в спину. Грязно-желтый халат от солнца

обрисовался золотой каймой.

— Я вам сейчас это скажу, — заговорил опять сумасшедший, поворачиваясь и подходя.

И лицо у него было уже совершенно серьезное и даже как будто грустное, но от этого оно только стало приятнее.

— Вам очень не идет смеяться, — почему-то сказал доктор.

— Разве? — заинтересовался сумасшедший. — Да я и сам это замечал... и многие мне это говорили... Да я и не люблю смеяться...

Он засмеялся. Смех у него был сухой, деревянный.

— И смеюсь, доктор, смеюсь очень часто... Но я вам хотел не об этом... Видите, с тех пор как я себя помню мыслящим человеком, я постоянно думал о смерти... и очень упорно...

— Ага! — громко сказал доктор и снял очки. Глаза у него оказались большие и такие красивые, что сумасшедший невольно замолчал.

— А вам так вот очки не идут! — сказал он.

— Э... нет... это пустяки... а вот вы об этом... думали, значит, очень много о смерти? — заторопился доктор. — Это очень любопытно...

— Да, знаете... Я не могу вам, конечно, передать всего того, что я передумал, и уж конечно того, что я перечувствовал... а только очень нехорошо было!.. Я, бывало, по ночам плакал, как маленький мальчик, от страха... Все представлял себе, как это будет... как я умру, как сгнию и как в конце концов меня совсем не будет... Так-таки и не будет! Это очень трудно; почти невозможно представить себе... — а все-таки... так и будет.

Доктор скомкал в руке бороду и промолчал.

— Ну, это еще ничего... то есть не то, что «ничего», а даже очень скверно, печально, омерзительно, но... самое скверное в том, что я-то умру, а все останется, останутся даже результаты моей жизни... ибо как бы ни был человек мал, но есть какие-то результаты его жизни!.. Да, так вот... я, предположим, очень и очень страдал, я воображал, что ужасно важно, что я был честен или подлец первой степени... и что все это пойдет, так сказать, впрок: мои страдания, мой ум, моя честность и подлость и даже моя глупость послужат для будущего, если не для чего другого, то хоть для назидания... вообще я, как оказывается, хоть и жил, и в великом страхе смерти ждал, но все это вовсе не для себя — хоть и воображаю что для себя, — а для... черт его знает для чего, потому что и потомки мои тоже ведь не для себя будут жить... И... знаете, доктор, попалась мне одна книжка, а в книжке той мысль, и хоть мысль была, может быть, и вовсе глупая, а меня поразила... так поразила, что я ее на память заучил.

— Это интересно, — пробормотал доктор.

— Вот она: «Природа неотразима, ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое. Она не знает ничего, ни добра, ни зла, она не терпит ничего абсолютного, вечного, ничего неизменного. Человек — ее дитя... но она мать не только человека, и у нее нет предпочтения: все, что она создает, она создает на счет другого, одно разрушает, чтобы создать другое, и ей все равно»...

— Так, — грустно заметил доктор, но сейчас же спохватился и, надевая очки, строго прибавил: — Ну и что же из этого?..

Сумасшедший засмеялся, смеялся долго и довольно сердито, а когда перестал, то возразил:

— Да ничего, так-таки и ничего... Вы видите, какая это глупая мысль, глупая до того, что в ней вовсе нет мысли... Так — фактик есть, а мысли нет... а факт без мысли — одна глупость... Мысль вывел я сам... Я решил, что дело далеко не так по идее, если можно так выразиться, природа вовсе не не терпит ничего абсолютно вечного... напротив: у нее все — вечно, вечно до приторности, до однообразия и надоедливости; но только вечны у нее не факты, а идеи... самая суть существования... не дерево, а пейзаж, не человек, а человечество, не влюбленный, а любовь, не гений и злодей, а гениальность и злодейство... Понимаете вы меня?

— По... понимаю, — с усилием ответил доктор.

— Мы вот с вами сидим и мучимся мыслью о смерти... природе до нас — ни самомалейшего дела: мы благополучно, ни на какие рассуждения не взирая, помрем, и нас как не бывало... очень просто... но мучения наши вечны, вечна их идея. Соломон № 1-й, который жил Бог знает когда, ужасно мучился мыслью о смерти, Соломон № 2-й, который будет жить Бог знает когда, тоже будет ужасно страдать по той же причине... Я в первый раз поцелуюсь с невыразимым наслаждением, а когда у меня уже появится вечная костяная улыбочка, сладость первого поцелуя переживут еще миллион миллионов и больше влюбленных... совершенно с тем же чувством... Но я, кажется, повторяюсь?..

— Да-а...

— Да... ну... так вот: во всей этой пакостной мыслишке одно только заключение, — поскольку оно касается не идеи, а факта, нас с вами, значит это то, что природе «все равно». Понимаете, мы ей не нужны, «идею нас» она возьмет, а что касается нас лично, то ей в высшей степени наплевать... И это, извольте видеть, после всей той муки, которую я пережил... Ах ты, стерва!.. Ей — все равно!.. Так мне-то не все равно!.. Плевать мне на то, что ей все равно!.. Совсем не все равно!

Сумасшедший завизжал так громко, так пронзительно, что доктор укоризненно, хотя и совершенно машинально, заметил:

— Ну вот... сейчас и видно...

— Что я сумасшедший?.. Это еще вопрос... да-с, вопрос... вопросик! Я, конечно, пришел в телячье возбуждение... я закричал... и все такое... но ведь удивительного в этом ничего нет: наоборот — удивительно, что люди, постоянно думая о смерти, боясь ее до умопомрачения, единственно на страхе смерти основав всю свою культуру, так прилично относятся к этому вопросу... поговорят чинно, погрустят меланхолично, иной раз всплакнут в носовой платочек и промолчат, займутся каждый своим делом, отнюдь не нарушая общественной тишины... а я... я думаю, что это они — сумасшедшие или просто дураки, если могут перед такой штукой еще приличия соблюдать!..

Доктор очень хорошо вспомнил, как ему хотелось иногда, с несвойственным его летам и солидности ожесточением, начать биться головой о стену или кусать подушку или рвать на себе волосы.

— Этим ничему не поможешь, — угрюмо заметил он.

Сумасшедший помолчал.

— Ну да... но ведь, когда больно, хочется кричать, и когда кричишь, то будет легче...

— Да?

— Да...

— Гм, ну, пусть...

— Да и все-таки самому перед собой не так стыдно: все-таки я, мол, хоть на то употребил свою свободную душу, эту самую, чтобы кричать караул!.. Не шел, как болван, на убой... и не обманывал себя теми благоглупостями, которыми принято себя утешать в сей беде...

Удивительное дело! Человек по натуре — лакей... ведь природа... она уж действительно вечна, ей есть смысл думать не о факте, а об его идее, но человек — сам конечнее всякого факта, туда же пыжится, старается представиться, что и он чрезвычайно дорожит тоже не фактом, а идеей... Можно ведь у нас во всю жизнь ни одного ласкового слова никому не сказать, а людей, человечество любить, и это будет очень великолепно, очень добродетельно в самом лучшем смысле слова... Так и видно: притворяются людишки, хихикают перед своим всемогущим барином, который их, как баранчиков, хлоп-хлоп! — и все у них где-то в глубине души сидит этакая надеждишка, махонькая, с воробьиный носочек, даже меньше, совсем меньше, потому что знает же, уверен же всякий из нас, что «оставь надежду навсегда»... сидит эта лакейская надеждишка: ну авось, авось... ну, может... ну, как-нибудь... и того!.. Слово «помилует» уж и вовсе не произносится, потому уж слишком очевидно...

— Ну и что же, наконец? — с тоской спросил доктор и потер руки, точно ему стало очень холодно.

— И наконец, то, что возненавидел я эту самую природу горше горького!.. Дни и ночи думал: да найдется же и на тебя какая управа, будь ты проклята!.. И видите, доктор, я довольно еще равнодушно отнесся к природе, вне земли, которая... Ибо ведь ни черта в ней я не понимаю... То есть не то, что не понимаю, но чувствовать не могу... Что такое для меня звезда, например? Тьфу, и больше ничего!.. Она — сама по себе, я — сам по себе... слишком дальше, должно быть, расстояние... А вот земная природа, та самая, которой нужно зачем-то лущить нас, как орешки, смакуя нашу идею, то есть идею нас... Все, бывало, думаю: как же так... какое имеет право кто бы то ни был мучить меня, потом другого, а потом миллионного и так далее до бесконечности? Почему-то больше всего меня сладость первого поцелуя угнетала: я, мол, поцеловал раз, один только маленький разик, и уже-тю-тю... а первый поцелуй со всей своей прелестью так и останется, будет вечен, вечно юн и прекрасен... да и все остальное... Ведь обидно же... высшая это обида, такая обида, что хуже и нет!..

Доктор растерянно смотрел на него.

— Но комбинация может повториться, — совсем уже глупо пробормотал он.

— Начхать мне на эту комбинацию! — заорал сумасшедший в положительной злобе.

И крик его был такой громкий, что после него они долго молчали.

— Как вы думаете, доктор, — опять начал сумасшедший тихо и вдумчиво, если бы вам вдруг доказали, что земля наша умирает... так-таки и умирает со всеми своими потрохами, и не дальше, как этак через триста лет... «унд ганц акkurat»... фью!.. Нам-то, современникам, до этого конечно же не дожить... а не ощутили бы вы все-таки некоторой грусти?..

Доктор еще не успел сообразить, как сумасшедший заторопился:

— Очень многие, те, в коих холопство мысли уж в кровь въелось, которые — как бывшие старые дворовые, уж не могли даже отделить своих интересов от интересов засекавшего их

барина — не могут чувствовать самих себя, очень многие скажут, что ощутили бы... и пожалуй, и вправду... Ну, а я... я бы так, доктор, обрадовался! — с каким-то упоением сдавленно проговорил сумасшедший. — Так обрадовался!.. Ах, ты!.. подохнешь, значит, не будешь тешиться вечно моей мукой, проклятой этой самой «идеей меня»! Конечно, строго говоря, это никому ничего не докажет... а все-таки... чувство мести хоть удовлетворится... ирония исчезнет... понимаете... вечность эта, коей во мне нет!

— Как же, — вдруг несколько запоздало ответил доктор, — я понимаю...

И он как-то залпом продекламировал:

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечною сиять...

Сумасшедший быстро остановился и слушал молча с тупыми глазами, а потом залился смехом.

— Вот, вот, вот, вот, вот, вот!.. — как перепел закричал он. — Не будет этого, не будет... не будет этой вечной красоты!.. И знаете, доктор, я... я по профессии инженер, но очень долго занимался астрономией — это в моде, чтобы заниматься не тем, к чему готовился всю жизнь... и вот, когда я уже совсем измучился... совершенно случайно я наткнулся на одну ошибку. Я, знаете, занялся солнечными пятнами, я изучал их гораздо подробнее, чем на них останавливались до меня другие, и вот я...

В это время солнце зашло за стену противоположного здания, и в комнате сразу померкло. И все предметы как будто отяжелели и прилипли к полу. Сумасшедший стал на вид коренастее и грубее.

— Ну вот... в известной теории прогрессивной увеличиваемости солнечных пятен, по которой солнце должно потухнуть без малого в четыреста миллионов лет, я открыл ошибку... Четыреста миллионов лет!.. Вы можете, доктор, представить себе четыреста миллионов лет?

— Н... не могу, — проговорил доктор, вставая.

— И я не могу, — засмеялся сумасшедший, — и никто этого не может, потому что четыреста миллионов лет-это уже вечность... тогда следует просто предпочесть вечность, как понятие более общее, а оттого и более ясное. С четырьмястами миллионами лет все остается, как в вечности: и равнодушная природа, и вечная красота... Четыреста миллионов лет-это насмешка... И я, знаете, открыл, что никаких четырехсот миллионов лет не будет!

— Как не будет? — почти вскрикнул доктор.

— Да так... они рассчитывали, и очень наивно даже, что раз в такое время солнце потухло на столько-то, то... и тут шла простая арифметика. А между тем известно, что охлаждающийся металл или иное тело держится долго в раскаленном виде только именно до появления первых просветов охлажденности... ибо тут взаимонагреваемость... а уж раз появилось пятно, этакое темненькое пятно на сверкающей самодовольной роже, то уж тут... равновесие

нарушено, пятно не только не поддерживает общую теплоту, а даже совсем напротив: холодит... холодит-с, милое пятно!.. Холодит и растет, и чем больше растет, тем больше и холодит... с увеличивающейся в чудовищной прогрессии скоростью. Я думаю, что когда останется этак, примерно, четверть солнца, со всех сторон сжатого темными пятнами, одним громадным пятном, то оно потухнет уже в какой-нибудь год... два... И я принялся за вычисления, я делал сплавы, однородные химически солнцу... и, знаете, милый доктор, что я получил?

— А? — странно отозвался доктор.

— Да то, что земля погибнет от холода... при холоде какая уж красота!.. Не скоро, очень не скоро, приблизительно так через пять, шесть тысяч лет...

— Что-о! — вскинулся доктор.

— Через пять-шесть, не больше.

Доктор молчал.

— И когда я это узнал, тут-то я и начал всем рассказывать и хохотать...

— Хохотать? — спросил доктор.

— Ну да... веселиться вообще.

— Веселиться?

— Радоваться даже. А! Думаю...

— А-хи-хи-хи!.. А-хи-хи-хи! — вдруг прыснул доктор. — Хи-хи-хи!..

Сумасшедший недоверчиво замолчал, но доктор уже не обращал на него никакого внимания, он захлебывался, приседал, плевал и сморкался, очки у него спали, фалдочки черного сюртука тряслись, как в лихорадке, а лицо все сморщилось точь-в-точь как резиновый «умирающий черт».

— Через... пять тысяч... лет?... Хи-хи-хи!.. Это... прекрасно... это о-очень хо...рошо... А-хи-хи-хи!.. Так, так... это мило!.. А-хи-хи-хи!..

Сумасшедший, глядя на него, тоже начал смеяться, сначала тихо, а потом все громче и громче...

И так они стояли друг против друга, трясясь от злобно-радостного смеха, пока на них обоих не надели смиренных рубашек.

1903